

глупым приказом, представляют к «георгиям» денщиков, кашеваров, санитаров, полковых сапожников...

Кузька Власов предложил ротному:

— Нельзя ли, ваше благородие, кресты по очереди всем носить: неделю бы тот, неделю бы энтот или ба хто в отпуск в деревню проедет — тому креста три на грудь во временное пользование. Справедливо бы было, ей-богу! Я первый...

Штабс-капитан Дымов хохотал до слез. Кузька получил за эту выходку Георгия четвертой степени.

*

Немцы стальным клином врезались в наш фронт. Прорвали.

Отступаем «без заранее обдуманного намерения».

Иногда отходим в полном порядке, иногда бежим куда глаза глядят, не слушая команды, не считаясь с напряжением.

Говорят: другие наши армии наступают. Кому-то придется скоро «выравнивать фронт».

От сильного толчка в лоб мы потеряли равновесие и стремительно катимся назад. Штабы мечутся лихорадочно.

Преподавая нам в Петербурге искусство побеждать, ротный говорил, что немецкая кавалерия тяжела, мало подвижна и не опасна в бою. Видимо, он не совсем точно был информирован на этот счет.

Не успеем мы передохнуть и выпить по кружке чаю после утомительного сорокакилометрового перехода, как летит ординарец из штаба бригады с грозным предостережением:

— Неприятельская кавалерия с фланга.

Встряхиваем пропотевшие кольца скатанных шинелей и, напрягая остаток сил, убегает от флангового удара.

У меня стерты ноги. Грязные пропотевшие портянки прилипают к лопнувшим мозолям, пот и грязь раз'едают мясо.

А итти — иногда бежать — нужно. И хождению этому по полям, по болотам и оврагам ни конца, ни краю не видно.

— До морковкина заговенья проходим! — уверенно говорят солдаты.

Конец бывает в каком-либо деле, в работе. Мы же занимаемся «спасением» отечества, играем в чехарду в европейском масштабе.

*

Отступаем.

Сзади непрерывно вспыхивают кроваво-красные зарницы оружейных выстрелов.

Измученные голодом и бессоницей, овеянные запахом крови, мы бредем без всякого направления.

Кругом, куда хватает глаз, мертво.

Уныло бегут по бокам бескрайние дали.

Понурые, изглоданные, исчербленные, изувеченные снарядами, не вспаханные серо-зеленые поля.

Сломанные, опрокинутые двуколки, дрожки, тарантасы, брички с военным грузом, со всяческим домашним скарбом.

Гниющие трупы людей, лошадей с выкатившимися из орбит глазами, с раскоряченными ногами, с согнутыми

подковой шеями, с сведенным в саркастическую гримасу оскалом обнаженных зубов.

Тысячи беженцев, смытых с насиженных мест всеобщей паникой, ураганным огнем двенадцатидюймовок, согнанных приказами командующего, казацкими пиками и нагайками, голодом, плетутся вперемежку с войсками.

Беженцы тянут за собой вереницы коров, свиней, коз, овец, волов, кроликов, гусей, кур, индюков...

Они подолгу путаются на переправах, устраивают пробки на мостах и в трясинах. Воздвигают на пути движения войск баррикады, стесняют движение армейских обозов.

На шоссе на дорогах — и в бездорожья — по ночам непрерывный скрип телег, высокие грудные выкрики женщин, плач детворы, рев, ржанье, хрюканье, визг голодной скотины, сердитое кудахтанье домашней птицы.

В стороне от «шаши» тлеют развалины разрушенных артиллерийским огнем халуп, имений, фольварков.

Ярко горят, подожженные отступающими войсками, — а может быть, хозяевами? — стоги прошлогоднего сена, ометы соломы, скирды хлеба.

Когда на шоссе получается «беженский затор», командиры полка пускают в дело команду конных разведчиков.

Конники молотят нагайками беженских лошадей и возниц. Первых норовят ударить по глазам, вторых — по переносице.

В такие минуты весь беженский табор, точно сговорившись, гарланит истошным ревом, будто на него налетела орда грабителей.

И если битье не помогает, разведчики слезают с седел. Рубят шапками гужи и построжки беженских повозок; сбрасывают повозки в воду, в болота, в канавы, с веселым гиком и хохотом ломают оглобли, дышла, колеса, клетки с кроликами, плетушки с курами — путь должен быть очищен!..

Связь с соседними частями оборвалась. В карты глядеть некогда. В сумасшедшем хаосе отступления карта — анахронизм.

Иногда неприятельская шрапнель начинает рваться прямо над головами или впереди нас.

Тогда мы, не дожидаясь команды, под прямым углом поворачиваем вправо или влево и, обнаруживая непонятную прыть, улепetyваем от губительного огня.

*

Кавалерия противника целый день назойливо маячит на горизонте.

И потеряй мы окончательно присутствие «воинского духа» — порубят нас как капусту.

Вот на фланге подозрительно кружатся облачка бледно-розовой пыли. Облачка растут и приближаются с досадной, весьма для нас нежелательной поспешностью.

Головы всех поворачиваются туда, руки невольно сжимают винтовки, в глазах животная ярость, ярость усталых, голодных, загнанных, перепуганных людей, которым так нахально мешают уходить от смерти...

— Ну, братцы, сейчас или голова в кустах или грудь в крестах!

Это шутит ротный.

А через секунду сухо-деловым-тоном кричит:

— Проверь затвор! Открой подсумки! Спокойствие! Спокойствие. Спокойствие, чорт вас возьми!

Перестраиваемся. Рассыпаемся в цепь.

Замерли, почти не дышим, затаившись в изломах земли.

— Прицел постоянный! — несется откуда-то сзади знакомый баритон командира полка. — Без команды не стрелять. Пулеметы на линию!

Уже отчетливо видны дерзкие всадники, пригнувшиеся к лошадиным головам, взмыленные, взбешенные шпорами лошади, переливающаяся на солнце сталь обнаженных клинков.

Еще несколько секунд — и всадники врежутся в нашу цепь, пройдутся по нам тяжелыми конскими копытами, прощупают наши ребра острыми саблями.

О чем они думают в этот момент?

Может быть, они думают, что у нас нет патронов, что мы разучились стрелять?

А может быть, им надоело жить, голодать в походах, грабить жителей, расстреливать шпионов и они ищут смерти?

— По кавалерии пальба!

Мы прилаживаем винтовки к плечу.

— Поо-лк! Пли! Поо-лк! Пли!

Сухой треск двух тысяч винтовок с шумом разбрасывает воздух. Пулеметы тарахтят монотонно и грозно.

Как трава под косой, стелются по земле лошади, дрыгая перебитыми ногами, давят всадников, обдают их тяжким предсмертным хрипом.

Основное ядро конников поворачивает назад и моментально скрывается в тучах пыли.

И только несколько всадников, чудом уцелевших от наших залпов, подскакивают почти к самой цепи.

Офицеры поднимаются на ноги, выбегают вперед и из наганов в упор расстреливают тяжсло поводящих боками лошадей и странно выпучивших глаза, безмолвных всадников.

Отразив атаку, двигаемся дальше. Нервное напряжение, вызванное картиной боя, спадает.

А через час, через два опять кто-нибудь тревожно кричит:

— Недобитая кавалерия на фланге маячит!

И опять приходится бить. Бить или подставлять свою собственную шкуру.

Ночь-спасительница укрыла нас своим опахалом и дала желанный отдых истомленным ногам.

Ночью кавалерия в атаку не ходит.

*

Ночевали в богатом местечке.

Два солдата нашей роты забрались к старику-поляку в картофельный погреб картошку воровать.

Старик захлопнул крышку погреба и навалил на нее тяжелый камень.

Парни очутились в мышеловке.

Утром мы уходили. Нехватало двух человек.

Бросились на поиски. Случайно наткнулись на мышеловку и «отвалили камень от гроба».

Старик запер их без всякой задней мысли—хотел «попужать», но утром забыл по рассеянности выпустить.

Фельдфебель притащил перепуганного старика к ротному держать ответ. Штабс-капитан Дымов, наверное,

отпустил бы его, но в халупу случайно заглянул раздраженный чем-то батальонный.

— Агаа! Ты знаешь, что здесь через сутки будут немцы, и поэтому запер наших солдат, чтобы выдать их в плен! Шпион! Я тебе покажу, мерзавец, как родину... Расстрелять!

Старик опускается на колени и жалобно лепечет:

— Соколики, возродные мои! Не убивайте меня, Христа ради!

Старика подхватывают под руки и тащат в глубь двора, к плетню.

Он ухватил одного солдата за ногу. Солдат, размахнувшись винтовкой и крикнув, неловко сует прикладом в бок старику. Старик, глухо охнув, садится на землю.

Во дворе болталось десятка полтора солдат, уже одетых и собравшихся в поход.

— Смирно! — командует батальонный. — Слушай мою команду! Стройся! Ровняйся! По старику, что у плетня, пальба!

Шерента вскинула винтовки.

— Взвод!

Старик встал на колени и с кроткой мольбой протягивает к солдатам ссохшиеся, оголенные до локтей руки в синих узлах вен. Ветер пушит и качает его седую бороду.

— Пли! — тихо звучит исполнительная команда.

Короткий залп колыхнул воздух. Точно большой гвоздь вогнали тяжелым молотом в забор.

Старик дернулся телом и вразтяжку упал ничком.

За воротами строимся в колонну по отделениям. Первый и второй батальоны с песнями вышли за околицу.

— Песенники на середину! — звенит вибрирующий голос батальонного. — Запевать с первого шага. Батальон! Шагом! Марш!

Запевалы грянули любимую песню батальонного.

А позади нас на теплом трупе старика молодым голосом истерично визжала обезумевшая старуха...

*

Заночевали в большом селе.

Пришли без квартирьеров, халупы для постоя приходится разыскивать и отвоевывать самим. Начальство захватило себе по обычаю лучшие дома и махнуло на нас рукой.

Мы с Воронцовым долго бродим по темным переулкам и под каждым окном встречаем сердитое: «Проходи дальше, здесь полно!..»

На противоположном конце деревни, у самой церковной ограды, мы с последней надеждой в измученных сердцах робко стучали в чистенький домик.

В окно выглянула женская голова:

— Что угодно?

— Пустите переночевать.

— Сколько вас?

— Двое.

— Вы кто: солдаты или офицеры?

— Вольноопределяющиеся.

Голова скрылась, окно захлопнулось. Воронцов закуривает папироску и что-то сердито бормочет.

Очевидно, началось совещание с мужем. В ожидании ответа я опускаюсь на завалинку и моментально раскидаю. Адски хочется спать.

Хлопает калитка, и нас зовут. Оказалось, попали в квартиру местного учителя. К нашему удивлению, тут уже разместились фельдшер и подпрапорщик со своими денщиками, Анчишкин и Граве. Пьют чай.

Нас усадили за стол.

Стакан горячего чаю сразу отогнал сон и ослабил гнетущее ощущение усталости.

Я с любопытством приглядываюсь к обстановке.

В углу этажерка с книгами, на стенах — фотографии Мицкевича, Сенкевича, Оржешко, Пшибышевского, Конопницкой и многих русских писателей. Во всем убранстве помещения чувствуется интеллигентная рука хозяина. Нет ничего лишнего, мещански крикливого, бутфорского.

Хозяин, типичный польский интеллигент лет пятидесяти, любезно угощает нас и осторожно осведомляется насчет фронтовых пертурбаций.

Воронцов, как всегда, схватился спорить с Анчишкиным и Граве.

Фельдфебель, раскрасневшийся от чая, хвастливо уверяет, что «русская армия скоро очухается и опрокинет врага беспрременно».

Подпрапорщика, видимо, раздражает и белизна скатерти и безукоризненная чистота комнаты: «живут, дескать, как сыр в масле, а ты за них воюй».

Он капризным тоном избалованного ребенка придирается к хозяину.

— Ну, скажите мне, пан, что это такое?.. Вы — умудренный житейским опытом интеллигентный человек, вы хорошо знаете местный край — объясните вот мне: почему все здешние жители либо жулики, либо шпионы

и дезертиры? Почему поляки и жиды из нашей армии бегут к немцам, а из немецкой бегут к нам? Где у них совесть?

— Бегут—значит не хотят воевать,—сдержанно отвечает хозяин.

— Что вы говорите? — упрямо хрипит подпорщик. — Да какое они имеют право «не хотеть»? Я не захочу да другой не захочет тады кто жа будет защищать родину?

Старик скорбно качает головой, подходит к этажерке, снимает изящный томик в тисненном переплете и, перевернув несколько страниц, читает: «Дзяды» Мицкевича».

Покончив с ужином, фельдфебель уходит в соседнюю комнату спать. За ним поднимается и подпорщик. Уходя, он бубнит что-то насчет крамольных стихов, которые нужно сжигать.

Остаемся я, Граве, Анчишкин, Воронцов и хозяйин с хозяйкой. В комнате становится как-то уютнее, легче дышать... Подпорщик стеснял и нас, и хозяев.

Голос хозяина звучит все тверже и жестче. Очарованный прекрасной поэмой, я уже забываю, что передо мной скромный провинциальный интеллигент.

В моих глазах чтец сливается с автором бессмертного творения и превращается в польского трибуна, бросающего огненно-гневные слова «братьям-москалям» от имени передовой польской интеллигенции.

Быть может, на иных проклятье воли божьей.
Быть может, кто крестом иль чином осрамлен
Пожертвовал душой свободной и в прихожей,
В прихожей у царя гнуть спину осужден.

Подкупным языком царя, быть может, славит.
Быть может, радуясь судьбе своих друзей,
Льет кровь мою, в отчизне плахи ставит,
Хвалясь перед царем работой палачей.
Когда из дальних стран, где вольные народы,
Мои элегии на север залетят,
Звуча над краем льдов — пусть вам зарю свободы,
Как журавли весну, они благовестят.

Слова, точно капли раскаленного воска, капают в душу, чтобы осесть навсегда. Свинцовая тяжесть сжимает грудь, сердце.

Я бросаю короткий взгляд в сторону товарищей: Анчишкин и Граве — невозмутимый Граве! — сидят насупившись и, кажется, совсем не дышат.

Воронцов зажал в ладонях рук склоненное над столом лицо. Из-под опущенных век его катятся крупные горошины слез. Воронцов плачет. О чем? О повешенных декабристах, друзьях великого польского поэта? О свободе, которая существует лишь в грезах восторженных романтиков?

Воронцов плачет. И никнет к столу — низко-низко — голова с плотно закрытыми слезящимися глазами.

Хозяин откашлялся и продолжает рубить остановившуюся тишину комнаты проникновенным пафосом незабываемых, неповторимых строк, которые здесь, в горячке отступления, контр-атак, в атмосфере все возрастающего безумия бойни, приобретают особенный смысл.

Узнаете меня по голосу. Коварно,
В оковах ползая, я с деспотом хитрил,
Но вам все тайны чувств открыл я благодарно
И кротость голубя для вас всегда хранил.

Я выливаю в мир весь яд из этой чаши,
Едка и жгуча речь моя — затем, что в ней
Вся кровь, вся горечь слез, слез родины моей,
Пускай же ест и жжет — не вас, но цепи ваши.

А если я от вас услышу жалоб рой, —
Сочту их лаем пса, который привыкает
Носить покорно цепь и наконец кусает...
И руку, рвущую ошейник роковой...

Кончил. Откашливается. Протирает клетчатым носовым платком вспотевшие стеклышки пенсне.

Воронцов стремительно срывается с места и убегает в кухню.

Я спрашиваю хозяина:

— Почему вы не эвакуируетесь? На-днях здесь будет неприятель. Вас могут ограбить, убить, арестовать, мало ли что.

Лучистые глаза старика внимательно останавливаются на мне.

И как-то тихо, точно в раздумьи, он говорит:

— От беды и от смерти своей не убежишь...

И в этой его фразе нет ни позы, ни бахвальства.

За окном розовеет заря. Отсветы лампы в провалах оконных впадин и на стенах бледнеют. В восточном направлении устало гремят пушки.

Скоро опять в поход. Нужно немного отдохнуть.

Прощаемся с хозяином тепло, как старые друзья.

*

На привале разговорился с батальонным каптером. Из мелких чиновников, кое-что читал. Скользкий и неприятный тип. Говорит без умолку, точно граммофонная пластинка во рту заведена,

— Да, знаете ли, заедает среда нашего брата. Нервы честного человека притупляются на войне, и он готов всякую пакость сделать.

— Я вот читал когда-то записки Вересаева о русско-японской войне. Читал «Красный Смех» Леонида Андреева, возмущался, протестовал против грабежа мирных китайцев.

Все было, знаете.

Я говорил: как смеют русские солдаты разрушать курмири, эти святая-святых китайца? Как смеют русские солдаты топтать рисовые поля? Как смеют?

А теперь я (еще года нет, как на войне) огрубел. очерствел до неузнаваемости.

Теперь на моих глазах ежедневно идет такое мародерство, какое и не снилось Вересаеву, а мне хоть бы что! Как с гуся вода!

Грабят не каких-нибудь там косоглазых китайцев, о которых я имею самые смутные представления, а наших родных, русских мужиков, насилуют девок и баб, и, представьте себе, мне никого и ничего не жалко. Чорт с ними со всеми! Война как война! Лес рубят — щепки летят!

Подходит поручик Стоянов и ввязывается в наш разговор.

Заговорили опять о записках Вересаева о русско-японской войне.

— Таких, как Вересаев, расстреливать нужно! — свирепо ворочая небритыми скулами, говорит Стоянов. — Вересаев всю русскую армию оболгал...

Низко нависли тяжелые глыбы свинцовых облаков и легли неподвижно над землей.

Косые полосы дождя целый день без устали чешут согнутые солдатские спины.

Ноги скользят по липкой грязи изглоданного ливнем шоссе.

Промокшая насквозь одежда липнет к телу, давит к земле.

Тяжко идти — неведомо куда, неведомо зачем — в такую погоду с полной походной выкладкой, в стоптанных, разбитых сапогах.

Устало, вкривь и вкось, мотаются на шоссе, обходя глубокие лужи и водомоины, серые фигуры продрогших, измученных беспокойным гоном людей.

Заболевшие...—чем?—покорно ложатся лицом вверх где-нибудь в сторонке от дороги в мутную кашу из грязи. И ждут... Чего? Кого?

Одних подбирают санитарные двуколки. Других оставляют на произвол судьбы.

К ночи пришли в местечко.

В нем раньше стоял штаб дивизии, штаб артиллерийской бригады, были походные госпитали и другие учреждения.

Теперь пусто. Все выехали.

Выехала и часть жителей, но многие остались на месте.

Разбрелись по хатам. Жарко натопили печи. Сняли и развесили для просушки пропитанную дождем амуницию.

Варили, парили, жарили безхозную «скотинку», захваченную по пути, брошенную беженцами в местечке.

И заснули в натопленных хатах под неумолкаемый шум дождя.

Спит весь полк. Ни дозоров, ни сторожевого охранения, ни дневальных, ни дежурных по ротам. Мертво...

Беспорядочные выстрелы раскололи сонную мглу ночи. Электрическим током отдались в клубках размягченных нервов.

Сонные, полутолые, с невидящими глазами, ошалело метнулись к винтовкам, к патронташам, к пулеметам, к коробкам с лентами, к двуколкам, к лошадям. Давя друг друга, с матерком всовывали ноги в свои и чужие штаны, сапоги. На части рвали шинели.

В окна и в двери турманом выбрасывались на улицу, чтобы встретить заспанными глазами свой предсмертный миг, проглотить посланную врагом свинцовую закуску.

Невидимый в темноте противник густо засел во всех переулках и залпами прочищает просторы улиц.

Ротный и Табалюк с руганью собирают людей. Гонят в дыру плетня на задворки.

На корточках, ползком по лужам, по грязи, тянулись к кладбищу.

Залегли в выступах могильных холмиков и скленов под прикрытием крестов и каменных плит памятников.

Командиры возбужденно кричат, разыскивая своих стрелков. Налаживают боевой порядок.

— По местечку пачками! Начинай!

Дождь перестал хлестать.

Ветер развеял пелену облаков, обнажил дрожащий диск серебристой луны.

Рассеялась тьма. Косматые тени пролегли на кладбище от высоких, как виселицы, деревянных крестов.

— Прицел постоянный!—кричит ротный, ловко ныряя, протаскивая гибкое стройное тело между могил.

Из местечка доносится разнобой человеческих вскриков, оголтелый собачий лай. Звон разбиваемых оконных стекол и глухие тяжкие удары взрывов. Противник выкуривает из хат ручными гранатами оставшихся там и отстреливающихся стрелков.

Рядом со мной на мокрой гриве рыжей травы лежит клоун Симбо. Он полуодет. В полосатых тиковых подштанниках, прорванных на причинном месте, и босой, он так комичен в мертво-суровой обстановке кладбища при свете луны.

Мимо проходит фельдфебель.

Бьет Симбо обухом клинка по пяткам и сердито ворчит:

— Куда стреляешь, чортов водоглотатель?! Целься ниже.

Симбо поворачивает к нему обрюзгшее заспанное лицо.

— Как тут стрелять? В халупах еще, может, свои остались. Мирные жители.

— Ты у меня поговори еще, паскуда! Твое дело рассуждать? Какие там тебе свои? Свои, кои остались, те мертвые уж. А мирные жители—чорт с ними! Кто не велел выезжать отсюда? Был приказ покидать всем военную зону. Остались — пеняй на себя.

Симбо, выпуская пулю за пулей, остервенело щелкает затвором.

Фельдфебель ползет от нас в четвертый взвод. Грозит там кому-то расколоть пустую башку.

Светлеет.

— Эх, батареи нет! — вздыхает кто-то. — Вот сада-нули бы.

Пули стелются ниже.

Многие ранены.

На мутной стене небосклона качаются округлые линии распускающейся зари.

По цепи передается приказ об отступлении перебежками.

Звеньями медленно отходим на юго-восток. Наши пулеметы, прикрывая отступление, жарко дышат в местечко, взбивая на крышах солому.

За кладбищем уютная долина.

Пули свистят высоко над головами.

Благополучно выходим из губительного огня.

Кто-то из нашего взвода рассказывает.

— Симбу-клоуна, братцы, убило. Прямо в рот ахнуло разрывной. Весь затылок вырвало; мозги как брызнут — мне все глаза залепило.

Чей-то фальцет отвечает:

— Царство небесное! Хороший был парень, увеселительный и простой. Лучше фитьфебеля пригвоздило бы, гниду. Смерть у ево ослепла, што ли, никак не найдет. Везде тамашится, а все цел, точно заговорен.

*

Снабжение поставлено из рук вон плохо — солдаты голодают.

Двое из нашего взвода — Шаньгин и Дорошенко — откуда-то притащили из местечка годовалоого борова. Палить щетину некогда. Разрубили топором на куски прямо со щетиной.

Кровоточащие куски свиного мяса ловко тискают в вещевые мешки, в котелки. Руки у них в сгустках крови.

Подходит взводный Никитюк, ввинчивает бегающие глазки на распластанную парную свинину.

— Помогай бог, хлопцы! Мародерничаете, зацпичники, едри вашу кочку!..

Взводному дали кусок. Он отходит с довольным видом.

После взводного является фельдфебель и просит «кусочек тепленького»—дают и ему. Денщик ротного, пронюхав насчет борова, требует кусочек для его благородия «на котлетку». Получил...

Шаньгин, облизывая толстые вспотевшие губы, бубнит, закручивая мешок:

— Вот черти! Сичас ешшо от батальонного за мясом пришлют. Всего борова упрут на коклеты начальству, нашему брату опять придется итти промышлять.

— Что ж, сходим, не велик труд!—смеется Дорошенко, подмигивая одним глазом. — Я видел—там еще свинья осталась. Жирная, стерва! Пудов на десять будет!

Вмешивается отделенный.

— Вы, ребя, осторожней с энтим делом, а то за мародерство взгреть могут.

Шаньгин гримасничает, ворочая желваками.

— Гоняют, как сполошные, с места на место, протрясли все брюха, а кормить—не кормят. Рази так можно? Для солдата пишиа первое дело.

— Даром, что ли, кровь проливали?—бормочет Дорошенко.—Жизней своей рискуем, а тут свинью покушать не моги.

Вечер тихий и дремотный.

Кружимся в низкорослом лесу, окутанном густым мягким туманом. Туман плотно оседает на землю, пылит в лицо.

Нас двинули вдоль фронта. На левом фланге отступление приостановлено. Инициатива боя переходит в наши руки. Идут непрерывные контр-атаки. Немцы дерутся с остервенением.

Мы идем на поддержку.

Старик-украинец, мобилизованный нами в проводники, сбился с дороги и ведет нас, видимо, сам не зная куда.

В густой чаще и кустарниках на лошади ехать нельзя, офицеры спешились и идут вместе с нами.

Командир полка идет впереди всех и через каждые пять минут грозит срубить голову бестолковому проводнику. Растянулись цепочкой на несколько верст. Кружась, выписали какую-то замысловатую восьмерку, и... первая рота столкнулась лицом к лицу с пятнадцатой, шедшей в хвосте. Получилась натуральная сценка из водевиля.

— Какой части, земляки? — спрашивает командир полка усталым голосом.

— Лейб-гвардии Н-ского, — отвечает пятнадцатая рота.

Командир полка стоит в картинной позе с раскрытым ртом.

— Вот так фунт!

А потом минут десять разносит пятнадцатую роту и проводника.

Все слушают ругань с удовольствием. Она дает передышку.

Закурили и снова двинулись в путь. Туман все гуще и гуще. Сверху спускается косматая тьма; деревья и кусты сливаются с землей.

Командир полка недоволен проводником.

— Смотри у меня, Иван Сусанин! Я тебя, сукина сына, проучу! Если через два часа не выведешь из леса, так я тебя!..

Проводник роняет ненужные сюсюкающие подобострастные слова оправдания.

Солдаты выпучивают командира полка.

— Наш-то Севасьян не узнал своих хресьян... Ткнулся своей пенсной в пятнадцатую роту и вообразил, что это—сибирские стрелки какие-нибудь...

Проходим мимо пятнадцатой...

— Мотрите, более не попадайтесь! — насмешливо говорят солдаты.

Эх, скорей бы конец пути! Спать хочется, есть хочется, пить хочется — и все сразу...

Намокшая одежда облегает тело, как кольчуга, тянет к земле. Тело просит покоя, а нужно идти.

Ветки деревьев, отводимые в сторону впереди идущими товарищами, бьют сразмаха в лицо, сбивают шапку, которую в темноте долго приходится искать...

*

Третий батальон по «ошибке» обстрелял свой аэроплан. Летчик возвращался из глубокого тыла противника, где сбросил две бомбы и выдержал сильный воздушный бой. Пролетев немецкие окопы, он вздохнул свободной грудью и стал планировать над нашим лагерем довольно низко.

Его подбили. Изрешетили весь кузов, крылья; пилота прострелили плечо и ногу.

Скандал на весь корпус.

Командир третьего батальона, полковник Загуменный, уверяет, что солдаты открыли огонь по аэроплану без его ведома и приказания, стихийно подчиняясь чьему-то пеленному выкрику: «Бей немчуру!»

Командир полка, не стесняясь присутствием солдат, полчасика распекал Загуменного:

— Что такое ваш батальон, господин полковник, я вас спрашиваю? Хунхузы это, с позволения сказать, или императорская гвардия? Ежели это хунхузы, то отправляйтесь вы к чортовой бабушке на большую дорогу купцов грабить; а ежели это гвардия, то ведите себя, как надлежит вести... Вы покрыли полк несмываемым позором. Об этом могут завтра написать в газетах...

Загуменный начал смущенно оправдывать солдат. Это еще больше рассердило командира полка:

— Можно не уметь стрелять, колоть, рубить, ориентироваться по карте, но как же можно не уметь отличить своего от врага? Какой частью тела глядели ваши солдаты, когда расстреливали лучшего летчика нашей армии? Я вас спрашиваю: какой?! Неужели эти олухи царя небесного не могут отличить белый круг от креста? Зарубите отныне каждому на носу, что немецкие аэропланы имеют снизу на крыльях отличительный знак в виде круга. Наши—черный крест. При рецидиве этой мерзости — всех под суд! Расстреляю!

...Батальонный думает восстановить свое реноме, разыскивает виновников «недоразумения». Никто не находится.

Наш взводный резонерствует:

— Надо бы объявить официально, что солдат, подавший команду палить по аэроплану, производится в офицеры и получают георгия всех степеней разом. Тогда виновники себя выкажут. А когда выкажут — их на гауптвахту. Иначе не найдешь!

— Не поверят! — возражает фельдфебель.

— Поверят! — радостно говорит взводный. — Ей-богу поверят! Народ у нас ужасно глупый и легковерный...

*

Немецкая дивизия (слишком зарвавшись) продвинулась дальше, чем следует, и обнажила свои фланги.

Мы отрезали и обложили ее плотным кольцом.

Немцы не рассчитывали встретить здесь серьезное «дело». Они думали, что мы все еще находимся во власти охватившей нас паники.

Просчитались, конечно.

Мы мстили этой дерзкой дивизии за все неудачи последних недель, за все поражения, за раненых и павших в бою товарищей, за бессонные ночи... За все, за все. Казым залпом перекрестного огня мы злорадно кричали:

— Вот вам, колбасники! Вот вам за то, что вы гоняли нас по сорок километров в сутки без передышки!

От дивизии осталось мокрое место.

В плен не взяли ни одного человека. Раненых прикалывали.

Немцы держались великолепно. Командный состав выше всякой критики.

Даже смертельно раненые, умирающие, обливая нас жаром воспаленных немигающих глаз, кричали свое:

— Deutschland, Deutschland über Alles! ¹

Массовый психоз или подлинный национальный фанатизм?

Напускная, палочная воинственность или искренний энтузиазм?

*

Бой кончился. Кое-где вспыхивают запоздалые одиночные выстрелы.

Недавние рыцари, превратившись в шакалов, без единой крупницы воинственного пыла в лицах, наперегонку снуют около убитых и раненых. С одинаковым рвением выворачивают карманы своих товарищей и врагов.

Молодой немецкий офицер, одетый с иголочки, похожий на купидона, лежит на траве в луже крови. Я, приняв его за убитого, нагибаюсь, чтобы снять великолепный полевой бинокль.

«Мертвый» офицер, тяжело разомкнув веки, прожигает меня злым взглядом слезящихся глаз и уверенно вытягивает правую руку с крепко зажатым в ней браунингом.

Неприятный холодок пробегает по телу. Кажется, что это — галлюцинация.

Выстрел я услышал уже после того, как кусочек свинца пробуравил мне правое плечо.

Падая, видел впившиеся в меня глубокие лихорадочногоревшие глаза, уже подернувшиеся маслянистой тусклостью смерти, и кусочек синего неба.

Вторым выстрелом он взорвал свою черепную коробку.

¹ „Германия, Германия превыше всего!“

Помню: подбежал рыжий ефрейтор четвертого взвода Акимов и, по-мужицки крикнув, всадил мертвому офицеру штык между ребер и поднял его на воздух, как ржаной сноп.

— Не надо, Акимов! — пробормотал я. — Не надо, голубчик!

*

У меня сквозное ранение правой стороны груди и, кроме того, пробита левая нога выше колена.

С наслаждением отдыхаю в походных парусиновых бараках полевого госпиталя.

Ночью раны болят сильнее, чем днем.

Бессонница. Врач угощает бромом, морфием, опиум. Противно, но говорят: необходимо.

В выходное отверстие обеих ран утром и вечером вставляют марлевый жгут для вытяжки гноя.

Каждая перевязка — пытка.

Стискиваю зубы от боли, и каждый раз из глаз катятся крупные слезы. Лучше бы этот немецкий купидон уколошил меня совсем!

Сестра милосердия Шатрова, симпатичная пройдоха, утешая меня на перевязках, говорит:

— Потерпите, голубчик! Будьте мужественны до конца. Помните, что все это вы переносите во имя родины, веры, царя.

Слова ее кажутся мне наглой иронией. Она, вероятно, читает в моих глазах, знает мое отношение к этим фетишам.

Ординатор Вайнштейн утешает охающих и плачущих на перевязках по-иному:

— Ну, господа, как вам не стыдно впадать в подобный сентиментализм!

Ворочая зондом в пробитых грудях, в шеях, в ногах, в животах своих пациентов, которые орут благим матом и плачут, он забавно резонерствует:

— Ужасно, знаете ли, любит русский человек поплакать...

*

Прошел через шесть полевых госпиталей и попал наконец в уездный городок. Это — юго-западный Окуров. Все русские уездные города похожи друг на друга, как два тухлых яйца.

За последние недели такая масса впечатлений и переживаний, что, кажется, сознание не сможет все вместить; передо мной, как на экране, проходит прифронтовая полоса во всем ее красочном многообразии.

Чем дальше от передовых позиций, тем больше всякого рода военных учреждений, тем больше в этих учреждениях ненужного, примазавшегося люда.

При взгляде на шумное море пестрых маркитантов кажется, что вся мобилизованная буржуазия и интеллигенция окопалась в тылу.

Рвачи, мародеры, шкурники, спекулянты, шулера, карьеристы и альфонсы всех мастей и народностей России, как мухи, облепили штабы, лазареты, управления, канцелярии, интендантства, склады, саперно-инженерные конторы, снабженческие пункты. Одни одеты с иголочки, другие в потертом, лоснящемся замасленном платье.

И вся эта наглая, прожорливая, беспокойная стая хамелеонов неумолчно шумит, суетится, обсуждает проблемы побед и поражений.

Хамелеоны в курсе решительно всех событий, все знают из «достоверных» источников, они до смешного самоуверенны и развязны.

При встрече с начальством расстилаются до земли. За глаза говорят о начальстве пренебрежительно, играют в либерализм.

*

Лазареты прифронтовой полосы чуть не ежедневно осаждаются журналистами, «специальными» военными корреспондентами, репортерами, фотографами, начинающими писателями.

Все эти «работники» пера, как и маркитанты, одеты в защитный цвет.

Они навязчивы, юрки, неутомимы, изобретательны, нахальны и необыкновенно жадны до сенсаций. Они буквально выматывают душу раненым. Просят автографы, расспрашивают...

— Как вы сказали? Ах, повторите, пожалуйста, еще раз!.. Что вы сказали?

Раненых солдат угощают шоколадом «Сиу» и асмоловскими папиросами.

Солдаты добродушно курят папиросы, уплетают за обе щеки шоколадные плитки и в знак признательности врут корреспондентам в три короба о своих подвигах, о немецких зверствах.

Эти «сведения», купленные у раненых за асмоловские папиросы и шоколад «Сиу», «писатели» земли русской печатают в газетах и журналах.

На этих «данных», добытых «собственными» и «специальными» корреспондентами, воспитывается русское

«общество». По этим «данным» будущие историки составят «историю» войны 1914 года.

„Поверили глупцы, другим передают.
Старухи вмиг тревогу бьют,
И вот общественное мнение“.

Так было сто лет назад. Так и сейчас. Только теперь вместо комических старух-сплетниц, которыми гордилась когда-то Москва, подвизаются на этом поприще молодые люди и зрелые мужи с университетским образованием.

*

Лежу в офицерской палате. В томительном однообразии ползут дни. Палату обслуживают санитарки. Легко раненные офицеры охотятся на них в коридорах, затаскивают в ванну, запираются там на крючок. Когда один запрется, другие на цыпочках подходят к двери, в замочную скважину подсматривают.

Мой сосед по койке, капитан Борисов, человек весьма ограниченный, некультурный и по причине своей ограниченности несносный патриот, попросил сестру принести книг для чтения.

Сестра принесла ему томик Мопассана в русском переводе.

Борисов раскрывает книгу и читает.

А через полчаса он, одержимый невиданным приступом патриотизма, мечется на койке и изрыгает цензурные проклятья попеременно с нецензурными.

— Чорт знает что такое печатают! Я удивляюсь, господа, почему не запретят этой мерзкой книжки? Что смотрит государь? Где у нас в конце концов цензура?

— В чем дело, Борисов? Объясните?—громко просит нервный ротмистр с сабельным шпрамом на подбородке.

Борисов выразительно читает:

«Драться? Резаться? Убивать людей. В наше время, при нашем просвещении, при обширности нашей науки, при высокой степени нашего философского развития, достигнутого человеческим гением, существуют особые школы, в которых учат убивать людей с совершенством, убивать несчастных, неповинных людей, обремененных семьями.

И удивительнее всего то, что народ не восстает против правительства, что все общество не возмущается при слове «война»! Военные—бичи мира! Так вот—если уж правительства пользуются привилегией распоряжаться смертью народов, нет ничего удивительного в том, что народы иногда захватывают право распоряжаться смертью правительства.

Почему бы не призвать правительство на суд после каждого объявления войны?

Если бы народ не позволил бессмысленно убивать себя, если бы он употребил оружие против них, которые дали ему его для убийства, в тот же день война умерла бы».

Борисов обводит всех недоуменно - вопрошающим взглядом и сердито хлопает книгой о стол. Зазвенел и подпрыгнул на столике стакан.

Офицеры смущенно молчат.

— Да, книжица, кажись, тово... — неуверенно бурчит кто-то из угла.

Подпоручик Кутепов подбегает к столику, берет злополучный томик в руки, раскрывает и, перелистав несколько страниц, кричит:

— Внимание, господа! Вы только послушайте, что он здесь пишет:

«Землетрясения, погребавшие население под развалинами домов, разбушевавшаяся река, уносящая утонувших крестьян вместе с тушами быков и бревнами от размытых строений; победоносное войско, которое избивает всех, кто защищается, уводя в плен остальных, грабит именем сабли или славит бога пушечной пальбой — все это страшные бичи, разрушающие всякую веру в высшую справедливость, в провидение и в человеческий разум, ту веру, которую нам с детства стараются внушать».

Кутепов кончил. Опять все шумят, торопясь высказать свои мысли, вызванные книгой.

И, заглушая шум всех голосов, Борисов ругает Мопассана непотребными словами, часто вспоминая мать великого писателя, которая едва ли была причастна к разбираемой книге.

Слева от моей койки поднимается на локтях обычно молчавший штабс-капитан Измайлов. Волнуясь, говорит:

— Как можно ошибаться, господа! Я, например, до сих пор считал Мопассана приличным писателем, а он оказался...

— Это явный социализм, анархизм, подстрекательство! — замечает кто-то.

— А представьте себе, господа, вдруг эта книжка попадет нижним чинам, — ворочая кровавыми глазами, кричит Борисов. — Что тогда будет? А?

Штабс-капитан Измайлов успокаивает.

— Успокойтесь, господа! Это ведь не про нас писано; это про немцев.

Замечание вызывает новый взрыв реплик, и спор принимает другой оборот.

Книжка идет по рукам. Шелестят крамольные страницы.

Слово берет подпоручик Кутепов.

— В том-то и дело, господа, что Мопассан говорит здесь не о немцах и не о французах даже, а вообще... Значит и нас в некотором роде касается как-будто.

— Нижние чины, если и прочтут эту книжку, все равно ничего не поймут, — вставляет штабс-капитан Измайлов.

— Ну, не скажите, — протестует Борисов. — Они только притворяются перед нами идиотами, а когда что в их пользу, так они, если не умом, нутром отгадают. Среди нижних чинов, брат, такие фрунты попадаются, что больше нас с вами знают. У меня, например, в роте был один сукин сын, так он всех философов знал наизусть. Вот тебе и нижний чин!

Борисов предлагает сочинить и подать по начальству коллективный рапорт с просьбой об из'ятии Мопассана из обращения, «хотя бы на время войны».

Одни соглашались. Другие возражают.

Как никак, Мопассан все же классик и европейская величина... Будь это наш отечественный автор в роде Лажечникова или Загоскина — тогда бы иное дело. Скандал может получиться.

Тупоумие и черносотенство проявляются здесь в неприкрытой форме.

Эвакуация в Киев. Наша палата едет почти в полном составе. Фельдшера, об'явившего радостную весть, хотели качать.

Киев. Вокзал.

Нас в вагоне приветствует представитель какой-то киевской «патриотической» организации. Жмет руки, угощает душистыми папиросами.

Расспрашивали про город.

Киев утопает в буйно разметавшейся зелени садов.

С повышенным любопытством в'езжаю в это прославленное гнездо монархистов и черносотенцев. Киев—резиденция многих рюриковичей и новоиспеченных аристократов.

Везут с вокзала на извозчиках. Приличные лакированные пролетки. Резиновые шины мягко скользят по ровной чистенькой мостовой, на рессорах покачивается, точно в лодке.

Тело охватывает приятная истома.

Больше года не ездил на извозчиках, и мне кажется, что наш возница слишком быстро гонит и непременно вышибет на повороте. Но все проходит благополучно.

Сопровождающий нас санитар с возмущением рассказывает:

— Извозчики здесь ужасно бессознательные. Не хотят раненых возить с вокзала...

Нас это заинтересовывает.

— Что же, они у вас против войны? Социалисты левого толка? — улыбаясь, спрашивает мой сосед по пролетке.—Или сектанты?

— Какое, — машет рукой словоохотливый санитар. — Они у нас просто сволочь. Есть предписание — возить раненых бесплатно, а они не хотят. Когда приходит санитарный поезд, ревет сирена. Это сигнал всем извозчикам ехать немедленно на вокзал в распоряжение начальника эвакуационного пункта... А они, как только заслышат сирену — все в рассыпную: кто домой, кто подальше от центра в глухой переулок. Говоришь ведь им, что для отечества стараться надо, да рази они пекутся об отечестве! С полицейскими сегодня собирали, чтобы вас везти. Чистая беда с ними, с иродами...

Мы молчим. Болтовня санитара надоедает, хочется наблюдать город.

Извозчик, прислушивающийся к нашим разговорам, поворачивает иконописное лицо в клочьях спутанной черной бороды и оправдывается:

— Опять же взять, к примеру, овес: цена кусается. Мало что защитники. Всех на шармака не перевозишь. Война, може, пять лет простоит, ну-ка, попробуй-ка, поведи даром. Сам пешком пойдешь.

•

В Н-ском сводном эвакуационном госпитале нас не приняли. Нет места.

Наш чичероне рассыпался в извинениях.

Едем в другой госпиталь на противоположный конец города.

На землю оседает мягкий летний вечер.

В сиреновой выпуклости неба загораются первые звезды.

Улицы залиты публикой.

В центре по обеим сторонам улиц не идет, а шествует—именно шествует—сытая, крикливо и пестро одетая толпа.

Вот и знаменитый Крещатик.

Парижские и лондонские туалеты чередуются с украинскими белыми рубашками в вычурных узорах.

Звонкий смех, шутки, возбуждающий гомон толпы.

Киев веселится, Киев отдыхает, Киев развлекается, Киев флиртует.

Витрины магазинов бросают в улицы веера электрических лучей и нахально выпячивают бриллианты, жемчуга, изумруды, золото, тяжелые складки шелков, бархата, тончайших тканей...

Мой сосед, прапорщик Мочалов, сверлит панельную толпу голодным, пьяным, сосредоточенно-зловещим взглядом.

Я смотрю на его заостренный хищный профиль, отливающий синевой, и мне кажется, что он сейчас вот забудет о своей перебитой ключице, ринется в гущу фланнирующего мещанства, схватит как древний скиф самую хорошенькую киевлянку в об'ятыя и будет ее насиловать... Почему он этого не может? Он был в окопах. Видел смерть и безумие. Он теперь уже «по ту сторону добра и зла». Что его удержит? Закон? Мораль? Ничего этого нет. И Мочалов знает об этом.

В каждом квартале в раскрытые пасти окон несется на улицу хаос музыкальных мелодий.

В Киеве удивительно много музыки. Где-то мягко и успокаивающе рокошет рояль.

*

Я уже в госпитале. Перелистывая свои дневники, прячу память, восстанавливаю и записываю события вчерашнего вечера. Я немножко набедокурил...

...Живописный домик-игрушка ярко-канареечного цвета в стиле Модерн. Видимо, только-что отремонтирован или заново отстроен.

Распахнутые окна занавешены дорогими воздушными, как тонкое кружево, голубыми шторами.

В зале матово-бледное мерцание голубой люстры. Скользят белые фигуры женщин. Нервный смех и говор гостей.

Бурная, четко исполненная прелюдия и затем мягкий гибкий цыганский баритон мощными взлетами выбрасывает в окна романс Тарновского.

Под окнами толпа зевак. Аплодисменты и крики.

Кровь приливает к мозгам.

В сознании мгновенно встают и нагромождаются друг на друга черно-багровые смерчи вздыбленной земли, зияющие пасти воронок, фугасы, бомбометы, минометы, цепелины, истребители, железные вихри и потоки горячего свинца, громы, грохоты, лязги, трясения, обвалы, контузии, визги, ревы, стоны, хрипы, хрусты костей... Синие поленницы гниющих трупов, трупные черви, наползающие из глазных впадин... Крошево человеческого мяса, прожеванное гильотиной войны, обрубки ног, культяпки... Обмороженные носы, щеки, пальцы. Голод... Вши...

Страшные видения принимают гигантские размеры, нахально лезут в голову. Распирает упругой пружиной виски, вот-вот не выдержит, лопнет черепная коробка!

И опять все существо пронизывает уже знакомая щемящая тоска.

— Да, как они здесь смеют?!

Подхваченный какой-то посторонней силой, я соскакиваю с пролетки и прыгаю на костылях к канареечному домику.

— Куда ты? Стой! Стой же!..—испуганно кричит мне вслед прапорщик Мочалов.

Он останавливает извозчика и бежит за мной, не понимая, в чем дело.

Как-раз в тот момент, когда баритон брал высокую ноту, я остановился под окном, двинул тяжелым дубовым костылем по раме, разбил ее вдребезги и, размахнувшись, кинул костыль в голубую гостиную.

Будь у меня в тот момент под рукой бомба, я, не задумываясь, кинул бы ее...

Музыка оборвалась. Баритон смолк. В гостиной забежали, засуетились испуганные люди. Кто-то завопил: «Караул»...

— Ты с ума сошел!—кричит мне Мочалов в самое ухо и крепко хватается меня своей единственной здоровой рукой за плечо.—Ты ведешь себя, как Пуришкевич в государственной думе. Это безобразие! Позор!

Я ничего не соображаю. В душе моей нет больше ни злобы, ни боли, нет никаких желаний и ощущений. Силы покидают, хочется спать.

— Господа! Помогите, пожалуйста, втащить его в пролетку; видите, он в приступе горячки.

Это Мочалов.

Но голос его чужой, силовый. Мне кажется, что это не про меня.

Обморок легкий и освежающий, как сон. На рессорах приятно покачивает.

Извозчик опять что-то бормочет про овес, который «нонче кусается».

Какой глупый извозчик. Что за чепуха? Как может овес кусаться? Спать... Спать...

•

Госпиталь светлый и просторный.

Добродушный доктор психо-невролог усадил меня на стул, выслушивает, выстукивает, колотит ребром ладони по вытянутой моей ноге.

— Помимо всего прочего, у вас, батенька, нервы, нервы... Эх, молодежь, молодежь... Никуда у вас нервы не годятся.

Я слушаю молча.

Доктор продолжает:

— Недельки через три ваша ранка зарубцуется совсем. Мы вас выпишем и дадим двухмесячный отпуск для восстановления сил. Хватит с вас, отдохните, пусть другие теперь понюхают пороху. И мой совет вам, милейший: уезжайте куда-нибудь подальше от городского шума, в самую глушь, в деревню, к истокам жизни. И чтобы, главное, никаких книг, никакой музыки, никакого воспоминания об этом грешном Вавилоне-городе. Уезжайте в Поволжье, в леса. Места там чудесные. Купите ружьишко, займитесь охотой...

— Как лейтенант Глан? — спрашиваю, улыбаясь.

— Да, да... Как лейтенант Глан. Ведь гамсуновские герои — это тоже неврастеники, больные, беглецы от городской жизни. Лес вам поможет лучше всяких ванн и электричества.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

„Вы и меня вовлекаете в дела вашей ненависти; и моя кровь пролилась в диких схватках; но я накажу вас такой страшной пеней, что все пожалеете о моей утрате. Я буду глух и к просьбам и к оправданиям, ни слезы ни мольбы не смягчат меня, а потому и не прибегайте к ним“.

Шекспир

Кончился срок отпуска. Опять еду на фронт. Война, кажется, затянулась надолго. Тыловые патриоты охрипли от воинственных криков, но кричат все еще дружно и с возрастающей злобой.

Настроение деревянное. Знаю — впереди меня ждут тысячи тяжелых лишений, которые я уже пережил однажды; но путь свой изменить не могу...

Заезжал к матери в Петербург. Бойтся, что меня на этот раз убьют. Просила «окопаться» в тылу, хотела сама ехать хлопотать; отказать тяжело и не отказать нельзя.

Обняла меня своими дряблыми руками и повисла на шее, такая жалкая и беспомощная, содрогающаяся от рыданий.

Вчера наблюдал на Невском, как «читающая» публика осаждала газетчика, продававшего экстренный выпуск

телеграмм с фронта. Брали нарасхват, но ничего, кроме любопытства, я не видел на лицах читателей. Отходили несколько шагов и тут же читали, пробегали цифры убитых и раненых. И делали это так же равнодушно, как просматривали в свое время известия о бегах, лотерейные бюллетени. Один, жирный, с стрехстопным подбородком, похожий на бегемота, разочарованно сказал своей даме в роскошных мехах:

— Пхе, сегодня неинтересная телеграмма! Убитых только четыре тысячи, раненых — семь...

Оглядываясь кругом, видел такие же кислые мины на лоснящихся лицах: все были разочарованы тем, что на фронте слишком мало раненых и убитых.

*

Заходили «проститься» университетские товарищи: Шутов и Миронов.

Шутов работает на оружейном заводе, на оборону, но обороне не сочувствует.

В таком же тупике, как и аз, грешный. Жаловался мне, как ребенок, измученный тиранством своих гувернеров.

— Что же делается на свете? Теперь по-немецки разговаривать нельзя. На-днях в трамвае избили двух знакомых студентов, которые перекинулись несколькими немецкими словами. Я изучал немецкий язык почти восемь лет и теперь не имею права на нем разговаривать. Сколько времени это продолжится? Может быть, десять—двадцать лет? Ну, хорошо, я буду изучать английский язык, чтобы с помощью его приобщиться к мировой культуре; но кто может поручиться за то, что через пять лет не будет войны с Англией? Тогда запретят и англий-

ский язык и будут бить морду тому, кто произнесет хоть одну английскую фразу? Как же быть?

Миронов — человек совсем иного покроя. Оптимист, весельчак; был в университете «идейным» малым. Сейчас — представитель золотой молодежи, которая живет по гениальному рецепту маркизы Помпадур: «Après nous le déluge!»¹

Он вприхнул ко мне, как бабочка, расфранченный, надушенный, с очаровательной улыбкой на молодом порочном лице и с погонами прапорщика на узких покатых плечах.

Я недолюбливал его и раньше; теперь он кажется мне чудовищным творением снисходительной природы.

С места в карьер начинает рассказывать о своих любовных успехах. Потом, видя, что мне это неприятно, переменяет тон, покровительственно говорит:

— Хотите, я устрою вас здесь в одном штабе?

Отрицательно мотаю головой.

Миронов изумлен.

— На кой вам сдался фронт? Все устраиваются в тылу, кто может. В этом ничего предосудительного нет. Здесь тоже нужны люди. А жить здесь несравненно веселее, чем там.

Шутов набросился на него с резкими нападками.

Легкая краска заливает холеное лицо Миронова, но спокойным голосом, полным достоинства, он отвечает Шутову:

— Мы во многом ошибались в свое время, друзья мой — в том числе и в выборе пророков и моралистов.

¹ После нас хоть потоп!

Пора поумнеть. Жизнь идет мимо аскетических догм и канонов морали. Это необходимо понять.

Шутов поднимается с места и, потрясая кулаками, долго разносит Миронова. Спор переходит в ругань.

По обязанности хозяина примиряю их, но безуспешно.

*

Сегодня я провожу последний вечер в петербургской квартире. Завтра с утренним поездом выезжаю на юго-западный фронт.

С Петербургом все кончено. Больше никто не придет ко мне. Шутов хотел провожать на вокзал, но я отказал ему в этом. Так будет лучше. Проводы всегда действуют на меня удручающе.

В окно виден стройный костяк города, улицы заполняются публикой, масса военных под руку с дамами. Вереницей скользят экипажи, авто. Точно на выставке, демонстрируются соболя, горностаи, песцы, котики, бобры.

Развалившись на мягких подушках, утопая в мехах, влюбленные парочки тесно прижимаются друг к другу.

Вспоминаю вчерашний разговор с «прапорщиком» Мироновым: «Женщины к нам, военным, так и льнут». Это не хвастовство.

*

Захватил с собой в вагон пачку книг и последних журналов.

На этот раз в моей большой пачке не оказалось ни одной хорошей книги. Хорошо сброшюрованные и обрезанные, с изящной, вычурной обложкой, из роскошной бумаги, они поражают своим внутренним убожеством и

гнилью. Они напоминают разрисованных французской косметикой проституток

Какая непроходимая пошлость и ограниченность заливают сегодня литературу!

Развертываю сборничек библиотеки «Театра и Искусства».

Первое, что попадает на глаза — роман в четырех турах вальса «Средь шумного бала».

Героиня романа, томно вздыхая, говорит вальсирующему с ней кавалеру:

«Не наступайте на меня так решительно, я ведь не Галиция».

С гадливостью швыряю книгу под скамейку, нервно перелистываю вторую. Соседи по купе разглядывают меня с удивлением, перешептываются. Может быть, принимают за сумасшедшего?

Пусть, мне не до них.

В другой книге та же «Галиция», да еще «Карпаты» в придачу.

Характеризуя своего героя, покидающего возлюбленную, автор говорит:

«Он удирал, как немец под напором русской армии».

В газетных подвалах, в тонких и толстых журналах появились какие-то новые проворные личности.

— Шумим! Шумим! — кричат они своим появлением.

И, действительно, шумят изрядно.

Пишут, конечно, о войне, про войну, про доблести наших уважаемых союзников, про немецкие зверства и козни Франца-Иосифа.

Каждая газетка дает им ежедневно сотни сюжетов для тенденциозных рассказов и повестей.

Ветер военного министерства надул паруса всей писательской бездари, и она заработала на полном ходу. В журналах много новых имен поэтов и романистов.

Впрочем, Шутов мне говорил, что эти новые имена просто псевдонимы известных старых писателей, которые будто бы стыдятся писать патриотические вирши, но не могут удержаться от соблазна хорошо подработать. Он называл одного «маститого» писателя, который, по его словам, работает под тремя псевдонимами и умудряется писать чужим языком, чужим стилем.

Если этот водевиль с переодеваниями — факт, то это чудовищно.

Рассказики, романы и стихи патриотичны, антихудожественны, убоги, безграмотны, но паруса критиков и издателей надуты тем же тайфуном из военного министерства, и поэтому первые хвалят, а вторые печатают.

Критерием художественности стал патриотизм, все остальное неважно.

Даже бывшие декаденты, воспевавшие некогда «чудовищный разврат с его неутолимою усладой» и пытавшиеся «удивить мир злодейством», стали патриотами. И у них заиграла кровь.

Прославленный эго-футурист, кумир дегенеративных психопаток и скучающих барынь—Игорь Северянин — вещает миру с присущим футуристам бахвальством.

Когда настанет миг воинственный,
Во мне проснется гражданин,
Ваш несравненный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин.

...И кто бы мог подумать, что этот худосочный неврастеничный юноша с лошадиным лицом, с идеальным про-

бором на голове обладает таким воинственным характером и метит в Наполеоны?! Воистину уж, «война родит героев».

*

На станциях бабы бойко торгуют съестными припасами. Цены высокие. Солдаты ругаются, но громить не громят. Бабы, разговаривая с солдатами, сочувственно вздыхают: «Бяда чистая, свой у нас тоже иде-то на хронте, как вы, сердечные, страждет». Вздыхают, а все-таки дерут с них втридорога.

Земля сияет счастьем и жизнью, а я еду на фронт убивать. Там праздник смерти и разрушения.

Вот и сегодня, наверное, как вчера, убито несколько тысяч человек. Через два часа резвые мальчишки будут продавать «экстренные выпуски» и, учитывая нездоровое любопытство публики, будут звонко выкрикивать цифру убитых и раненых.

*

В купе входят два новых пассажира: молодая дама и грудастый, розовый прапорщик.

Прапорщик возвращается из командировки в свой полк, оперирующий где-то на Стоходе.

Дама—на фронт... к мужу.

Аверьян Леонтьевич (так зовут едущего в нашем купе поставщика), приглядываясь к модно одетой даме, говорит:

— Так, так, барынька. К мужу, значит. А где он у вас и кем служит, позвольте полюбопытствовать?

— Командир артиллерийской бригады.

— Так, так. А известно ли вам, что теперь, согласно приказу главнокомандующего, въезд женам и лицам женского пола в зону военных действий вообще воспрещен?

Женщина дымчато улыбается.

— Я еду не в гости к мужу, а в качестве сестры милосердия в бригадный госпиталь. Все оформлено, будьте спокойны.

Поставщик успокаивается.

Прапорщик напористо, назойливо ухаживает за «сестрой». На каждой станции он бежит в буфет и приносит ей чего-нибудь полакомиться.

Дама устроилась на верхней полке. Прапорщик ночью залез к ней и спустился на свою постель только утром.

Смена поездной бригады. Долго стоим.

«Молодожены» гуляют на платформе. В раскрытое окно доносится звонкий смех нашей «сестры».

Аверьян Леонтьевич негодуяше шипит:

— Ишь кобыла нагайская! Всю ночь под одеялом целовались. Двадцать лет ездию по всем дорогам, а такого паскудства, чтоб баба в вагоне чужого мужика под одеяло на всю ночь пустила, не видывал... И когда они снюхаться-то успели? Хотел я утром, грешным делом, по-стариковски отчитать, одернуть их маленько, да побоялся. Чего доброго, прапор еще в морду даст. Нынче народ пошел аховый, особливо которые в погонах... Вот мужу бы написать. Какой он батареей-то у нее командует?

— Не батареей, а бригадой, Аверьян Леонтьевич.

— Ну, все равно. Какой? Где?

— Не знаю. Забыл.

— Ах ты, господи! И я запомнил. А то бы написал, честное слово...

Меня разбирает смех.

Поставщик громко сморкается в затасканный серый платок. Глубокие извилины морщин тяжело играют на выпуклом вспотевшем лбу.

— Чему вы смеетесь? — журит он меня. — Вам все хаханьки. Что за народ пошел? В старое время этого отродясь не было.

*

Доехали. В штабе корпуса меня влили в маршевую роту, которая выехала из Петербурга за неделю раньше моего отъезда.

Идем по шоссе в место расположения полка. С прошлого года мало что изменилось. Та же «родная» картина.

Солдаты все еще распевают «Соловья-пташечку». Ни одной новой песни за это время не придумали.

Кружатся вражеские аэропланы: целая стайка. Наши батареи энергично обстреливают аэропланы из зенитных орудий. В голубой котловине неба отчетливо видны серые яблоки взрывов.

Но блестящие птицы ловко ускользают от рвущихся снарядов.

Пехотинцы ругают артиллеристов:

— Где им в аэроплант попасть! Они в корову на-ходу не попадут. Баб на привалах щупать—мастаки. Снаряды изводят зря, черти полосатые. Закрыли бы свои плевательницы лучше.

Со свистом скользит в воздухе выплунутый хищной птицей снаряд.

Повозки с ранеными и лошади, подхваченные сотрясением воздуха, отрываются от земли.

А потом и люди, и лошади, и колеса двуколок лежат рядом на шоссе по краям небольшой, только-что образовавшейся воронки.

Аэропланы летят дальше в тыл; артиллерия бьет им вдогонку.

Солдаты бегут помогать обозникам: режут постромки, стаскивают в канаву убитых и раненых лошадей, разбирают повозки.

К месту происшествия подлетает бравый полковник на породистом огненно-рыжем жеребце. Зычно кричит, вытягиваясь на седле.

— Давай! Давай! Не задерживай движения. Нечего копать, давай!..

*

Встречаю Граве.

— Вот не ожидал!

Расспрашиваю о старых знакомых.

Граве стереотипно отвечает:

— Убит.

— В плену.

— Ранен, эвакуирован.

— Без вести пропал.

— Дезертировал.

И изредка:

— Получил «Георгия».

— Произведен.

— Отмечен приказом.

— А где наш поэт?

— Ранен в бедро. Лечится. В Орле. Скоро вернется в полк; на-днях я получил от него цидульку.

— А как поживает бессмертный Кащей?

— Фельдфебель Табалюк убит! — дрогнув глазами, говорит Граве.

Я не могу удержаться от восклицания:

— Не может быть?!

Граве старательно раскатывает между пальцев потухшую папиросу.

Сухо и жестко поблескивают глаза.

— Да, представь себе, убит и Табалюк. И, знаешь что — только не болтай об этом — странно так убит. Кажется, своими солдатами; его недолюбливали многие. Пошел в уборную оправиться, и там пуля настигла его. Прямо невероятно, как это могло случиться. Яма глубокая, голова идущего почти на аршин ниже уровня насыпи. Возможно, рикошетом царапнуло, но, сам знаешь, рикошетные пули редко убивают на смерть, она уже обесилевшая... Табалюку снесло полчерепа, мозги упали в уборную.

*

Голод. Пайки урезали. Кашу дают почти без масла. Мародерство принимает угрожающий характер.

Высшее командование издает строгие приказы, грозит мародерам муками дантова ада, но ничего не помогает.

Голодные солдаты нашего батальона украли у лавочника-еврея корову. Сломали в хлеву замок, надели ей на ноги сапоги, чтобы не было на снегу следов, и, выведя за околицу, зарезали. Шкуру продали обозникам за пять фунтов махорки, а мясо поделили и с'ели.

Еврей принес жалобу батальонному командиру и заявил, что вечером перед кражей около его дома гуляли

два бородатых солдата, которые являются или сообщниками или самими мародерами.

Батальонный выстроил весь батальон в две шеренги и вместе с евреем идет вдоль фронта.

На лице батальонного скука. Будучи службистом, он только выполняет приказ, но насчет мародерства он и «сам не прочь воровать целу ночь».

Еврей выступает важно, как библейский пророк, призванный обличать свихнувшихся с пути людей.

Они внимательно, не спеша ощупывает всех колючим блеском грустно-миндальных глаз.

Против каждого ополченца с бородой он задерживается несколько секунд, и тогда весь батальон, затаив дыхание, ждет магического и грозного слова:

— Этот!

Но еврей идет все дальше и дальше. Два раза прошел он по фронту, «дивясь на хлющив», и не нашел своих разорителей.

— Нема туточки никого из тих, пане полковник!— говорит он дрогнувшим голосом и, поклонившись офицерам, уходит в свою хату, важно потряхивая благообразной седеющей бородой.

*

Сегодня арестовали трех солдат двенадцатой роты, которые украли у еврея корову.

Один написал земляку письмо, где подробно изложил всю историю с кражей.

С хохлацким юмором описал он, как одевали корову в сапоги, как сбрили себе бороды и усы, когда узнали, что еврей их будет «шукаты».

Военная цензура вскрыла письмо и препроводила командиру полка на расследование.

Заварилось дело.

Батальонный, говорят, вызвав к себе виновников перед отправкой на гауптвахту, кричал на них:

— Олухи! Дурачье! Воровать не умеете! Тысячу раз вам говорил: воруйте, но не попадайтесь. Попадетесь — не пощажу, потому—закон не разрешает воровать у мирного жителя последнюю корову. Тащи, что плохо лежит, пользуйся моментом, на то и война, но умей концы прятать, не подводи начальников своих!

Еврей, узнав, что виновники арестованы, приходил к командиру батальона и просил, чтобы дело замяли. Ему жаль солдат, которых за корову могут сослать на кааторгу.

Батальонный выгнал его.

Несчастный еврей, наверное, сам не рад всей этой истории.

Товарищи арестованных грозятся убить его и спалить хату перед уходом из местечка.

Он тайком вручил солдатам восемьдесят рублей денег и велел их передать командиру батальона, как якобы добровольно собранные с солдат для уплаты за украденную корову.

Еврей надеялся, что батальонный обрадуется такому исходу и тотчас же дело прекратит на законном основании.

Батальонный деньги принял, приобщиц их к делу и солдат не освободил...

Таким образом мы с'ели у еврея двух коров.

•

Проезжавший казак-ординарец с лихо зачесанным чубом хвастливо рассказывал:

— Мы, казаки, где пройдем походом, там никакой живности не останется — все разворуем и поедем. Мы, казаки — народ вольный. Нас даже куры боятся. Как увидят казака, сейчас завохнут, точно оглашенные, и улепетывают куда-нибудь в куток. Удочкой теперь ловим, так в руки нипочем не даются.

— Как удочкой?

Казак молодецки встряхивает чубом и улыбается лукаво.

— Очень свободно. Берешь шнурок с обнаковенной удочкой на конце, на крючок налепишь хлебный шарик, кинешь курице через плетень, она клюнет и — готово. Тяни ее к себе, крути ей голову на бок, клади в ранец... Так то, замлячок. А иначе как же? Жить-то ведь надо как-нибудь...

*

Вернулись в полк Анчишкин и Воронцов. Оба были ранены и эвакуировались несколько позже меня.

Воронцов не изменился.

Анчишкин заметно постарел.

— Дела — табак, господин пиит. Народу перепортили много, а результатов пока не видно.

Поэт кисло улыбается.

— Что же делать? Нельзя выпрыгать на полдороге, девки засмеют, да и убыток будет.

— Война, действительно, никчемная выходит. Немцы всю поэзию, как паутину мокрой тряпкой, смахнули. Они механизировали все и вся. Все сведено к техническим

расчетам, к математике. Нет места для творчества, героизма, неожиданных комбинаций. Война стала шашечной—именно шашечной, а не шахматной—игрой. Но розыгрыш затянулся, ибо каждая сторона ежеминутно вводит в действие новые пешки взамен проигранных. Это, правда, уже становится скучным.

Так, так. Сдаст понемногу, значит, и Анчишкин.

*

В наш батальон влился бежавший из немецкого плена штабс-капитан Васютинский.

Человек нервный и неуравновешенный. Много пережил в плену, и это окончательно вывихнуло ему мозги «набекрень».

Каждому (солдатам и офицерам) охотно рассказывает о «немецких зверствах». Жестикулируя и поблескивая воспаленно горящими глазами, он истерически вопит о системе унижительных обысков в немецких концентрационных лагерях, о немецкой пище для пленных, от которой дворняжки отворачивают с негодованием нос, об изнурительных работах, на которые гоняют пленных солдат и офицеров; и наконец квинтэссенция всех его повествований—трагедия в Н-ском лагере.

Часть барачков, в которых было полторы тысячи военнопленных, в знак протеста против грубого обращения и почти тюремного режима объявила голодовку.

В полночь немцы навели на бараки двадцать пулеметов, и в течение получаса свинцовый дождь лизал сухие тонкие стенки деревянных барачков, поражая испуганно мечущихся обитателей.

Убито было сто двадцать человек, ранено двести.

Забастовка была сорвана. Оставшиеся в живых сняли все свои требования.

Немцы потребовали зачинщиков бунта. Таковых не было. Выдавать никто никого не желал.

Тогда выстроили всех в две шеренги. Пересчитали по порядку. Вывели из каждого десятка по одному с правого фланга и объявили, что все выведенные будут расстреляны немедленно, если зачинщиков не выдадут.

На нарах еще не высохла кровь от ночной катастрофы, еще трупы убитых не были зарыты в землю, и это говорило за то, что с немцами шутки плохи.

Чтобы спасти сотню невинных товарищей, шесть офицеров и двое солдат вышли из строя и назвали себя зачинщиками.

Зачинщиков тут же расстреляли на дворе лагеря, остальных отпустили...

Лагерь притих и присмирел. Убежав из плена, Васютинский дал клятву отомстить немцам.

И теперь он каждому с упоением рассказывает о том, что переведется в тыл и попросит о назначении его, Васютинского, начальником концентрационного лагеря для немецких военнопленных.

Получив такое назначение, Васютинский введет в лагере ту варварскую систему, от которой он пострадал в Германии.

— А потом, — заканчивает он свой рассказ, — когда я вдоволь натешусь над ними, они у меня получают такую же кровавую баню, какую задали нам в Н-ском лагере. Я поставлю пяток пулеметов (по нашей бедности российской и пяти «максимов» хватит...) и... расстреляю весь лагерь.

Анчишкин понемногу левеет, а Граве тверд, как скала. Горой стоит за войну.

Вчера дискуссировали целый вечер.

— Пусть в этой войне мы, Россия, не правы, — говорит он, наконец, — пусть правы немцы. Пусть наконец правы обе страны; пусть каждая армия несет свою невыблемую правду на ребрах окровавленных штыков! Что ж из этого? Война имеет бесспорную внутреннюю ценность и сама по себе прекрасна. Я вам это тысячи раз говорил. Величайший гений военного искусства, Мольтке, сказал: «Война — это святое, божественное установление, это один из священных законов жизни. Она поддерживает в людях все истинно великое — благородные чувства, честь, самоотвержение, храбрость. Словом, она не дает людям впасть в отвратительный материализм». Что можете вы, слюнтяи-пацифисты, противопоставить этой четкой и ясной, логически выдержанной формуле?

— Здравый смысл не нуждается в аргументации — вставляет Воронцов.

В окопы откуда-то проникла эпидемия азартной игры. Офицеры играют на деньги, солдаты выигрывают друг у друга хлебные пайки, сахар, табак.

Вчера в нашем отделении четверо проигравшихся обедали без хлеба. Над ними смеялись. Это самый гнусный результат игры.

Выигравшие уплетают по два пайка, и лица их лоснятся от свиного удовольствия.

Возмутила эта история. Пробовал вразумлять игроков, но безуспешно.

Когда доказываю, что выигрывать у своего товарища последний кусок хлеба и заставлять его голодать — гнусность, то со мной все как-будто соглашаются.

— Знамо дело, нехорошо.

— Что и судить.

— Баловство, одно слово.

— Грех да ссора, только.

А через несколько секунд опять бубнят свое:

— Да ведь кабы ежели мы насильно... тоды так, а ведь мы, значит, по доброй воле.

— Тут мы на счастье рискуем: седни я выиграл у него пайку или две, завтра он у мене. Кому как фартнет — уж не обессудь, друг-товарищ.

— Ну, а если всю неделю будет проигрывать?

— Тоды, значит, коли шибко жрать захочет — перестанет играть; отдохнет малость — опять метнет карту; вы напрасно сумлеваитесь.

— Скука одолевает без итры, тошно на свет глядеть.

В первый год войны этого карточного разврата и в помине не было. Видно, чем дальше в лес, тем больше дров.

*

Подпоручик двенадцатой роты Фофанов получил после легкой контузии месячный отпуск. Выехал к себе на родину в Воронеж. Ночью без предупреждения приказ с вокзала на квартиру.

— Где жена?

Родные встревоженно переглядываются.

— В больнице.

Фофанов, не дожидаясь утра, бросился навещать жену.

В больнице его встретил дежурный врач.

— Скажите, доктор, здесь лежит такая-то? — обратился к нему Фофанов.

— Здесь.

— Каково ее положение? Что с ней?

— Ничего серьезного, господин поручик, у нее осложнение после аборта; уже проходит...

Поручик взревел от гнева и боли:

— Не может быть, доктор! Вы наверное перепутали! Я муж, я два года не был дома...

Смущенный доктор молча протянул офицеру «скорбный лист».

— Вот диагноз, история болезни.

Фофанов ворвался в женскую палату, отыскал жену и сонную пригвоздил тремя выстрелами из нагана к койке. А затем пошел заявлять властям об убийстве.

Его арестовали. Предстоит суд. Прислал в полк письмо. Просит офицеров о помощи.

В полку поручик Фофанов популярен как «боевой» офицер.

Составили длинную телеграмму с перечнем всех боевых заслуг Фофанова и послали в несколько адресов.

Сочувствие всех офицеров явно на стороне Фофанова.

— Из-за какой-то паршивой бабы лучший офицер на каторгу пойдет.

— Каждый из нас поступил бы так.

— Он тут кровь проливал, а она от абортотеч лечится.

Особенно возмущается прапорщик Змиев:

— Я бы не так сделал. Я бы сначала выпытал у нее, от кого забеременела, потом пришел бы ее и пошел к «своей». Если он военный — на дуэль пожалуйте.

Если шпак — просто стукнул бы из нагана без лишних разговоров — и делу конец.

Змиеву подкакивают и молодые и старые офицеры.

И никто ни словом не обмолвился о том, что подпоручик Фофанов за два года войны изменял жене сотни раз, что в походах на каждом биваке он имел любовниц, что гонялся за каждой юбкой.

*

Из Петрограда прибыл в нашу роту для «исправления» в чем-то проштрафившийся аристократ-гуляка юнкер Щербацкий.

На фронте, особенно в штабах и канцеляриях, циркулируют упорные слухи о все возрастающих «кознях» старца Г. Е. Распутина.

Встретившись наедине с Щербацким, я спросил его, как свежего человека, что он знает о Распутине.

— Это вы про Гришку-то? — развязно сюсюкает он, вскидывая на меня свои выпуклые голубые глаза. — Как же, как же. Вся столица о нем говорит. Только так, шепотком больше.

— Что он собой представляет?

— Сиволаный мужик, жулик, пройдоха, святой и ненасытный бабник. Всю петербургскую знать женского пола обратил в свою веру.

— Все эти слухи о личности Распутина кажутся мне преувеличенными.

— Что вы! Что вы! — протестует Щербацкий. — Это такая бестия, что умудряется не только спать с царицей и августейшими дочерьми, но и управлять страной. Все сановники перед ним на ципочках ходят. Может сменить

по своему калпризу любого министра, командира корпуса. Но характерно вот что: фамилия этого великого проходца чертовски гармонирует с его внутренней сущностью. О распутинских оргиях создаются умопомрачительные легенды.

Потом, прищурив потухшие устремленные куда-то внутрь глаза, Щербацкий полуиронически говорит:

— Скоро нашему брату, аристократам, жениться не на ком будет: все девки в распутинских б.... окажутся.

Заметив мою недоверчивую улыбку, Щербацкий уже серьезно заканчивает:

— Да, да. Я не шучу, вы знаете, он ведь неутомимый... А все женщины сейчас охвачены небывалым половым психозом и мистицизмом. Почва благодарная. Но особенно двор, двор!... Россия видала всякие виды. При Екатерине и Елисавете выносливые в половом отношении мужчины «зарабатывали» огромные имения, целые области с крепостными мужиками, всякие чины, регалии, но такого разврата при дворе не было. Тогда как-то стыдились, скрывать умели. Сейчас этим нарочито бравируют.

Сделав значительную паузу, Щербацкий изображает заговорщицкую мину на своем одутловатом лице со следами порока и таинственно говорит:

— Распутина собираются убить. Скоро убьют...

— Кто?

— Наши.

Сегодня газеты принесли сенсационное сообщение об убийстве Распутина. И мне невольно припомнился весь этот случайный окопный разговор с юнкером Щербацким.

Захватили в плен батальон немцев во главе с пастором.

У последнего оказался очень недурно подобранный ассортимент «священного товара».

Душеспасительные брошюры и листовки, предназначенные, видимо, для распространения в германской армии, изданы на прекрасной бумаге, с яркими, выразительными иллюстрациями на обложке и в тексте.

Просматривая «багаж» пастора, я успел сделать несколько выписок из наиболее характерных брошюрок.

«Запомните, что германский народ — народ, избранный богом. И на меня, как на германского императора, снизошел дух господя бога. Меня избрал он своим мечом, своим оружием и своим вице-регентом на земле. Горе всем непокорным и смерть всем трусам и изменникам».

Это, разумеется, слова самого Вильгельма. А вот эпиграфом к одной листовке взяты слова некоего пастора Кенига:

«Сам бог повелел желать нам войны».

Другой пишет:

«Господи! Хотя жизнь воина не легка, молю тебя — пошли врагам смерть и удесятери их страдания. Прости в своем милосердии и долготерпении каждую пулю, каждый снаряд, который не попадает в цель».

Не допусти нас до искушения, чтобы смирилась наша ярость, потух наш гнев и мы не довели ко конца твоего святого возмездия.

Освободи всех нас и наших союзников от наших врагов и их слуг на земле. Ибо твое есть царствие наша германская земля. Дай нам при помощи твоей

в сталь экованной руки завершить наш доблестный подвиг славы...»

В маленькой листовке с оригинальной виньеткой некий Лейман говорит:

«Германцы — это центр всех божественных планов на земле. Германская война против всего мира в действительности должна остаться войной против всех мирских низостей, злобы, фальши и других дьявольских наваждений всего света».

Пастор Румп уверяет немецких воинов:

«Наше поражение было бы поражением сына божия в образе человеческого. Мы воюем за все блага, данные Иисусом всему роду человеческому».

И в соответствии со словоизлиянием немецких закройщиков католической фирмы какой-то, должно быть, маститый профессор теологии пишет:

«Самым важным и самым знаменательным результатом войны надо считать то, что мы имеем теперь нашего личного германского бога. Не национального бога, как законодателя достояния народного, но имеем нашего бога. Бога, не стыдящегося того, что он принадлежит нам и что он — исключительная собственность нашего сердца».

Переводить и выписывать эту галиматью нехватает сил.

И подумать только! Чтобы приобрести себе «личного бога», немцы должны отправить на тот свет миллионов десять русских, французов, англичан, и т. д., да столько же, примерно, своих.

Перевожу и раз'ясняю эти мудрые афоризмы солдатам. Смеются и возмущаются.

Один, маленький, самый смышлённый из нашей роты говорит:

— Не хуже наших попов, значит стараются и тамошние. Наши тоже так пишут. И бога, поди, запутали так, что он совсем не знает и помогать кому: то ли немцам, то ли нам. Все долдонят одно: помоги, господи, одолеть врага...

*

Штабной ординарец ругает Кузьму Крючкова.

— Прогрёмел на всю Россию, байстрюк. На папирсовых коробках его портреты печатают... А последний казачишко был, из нестроевых, и подвигов никаких во сне не видывал. Вот ведь пофартило человеку.

— Как же так?

— Очень просто. Ездили наши казаки в раз'езд, напоролись на немецкую кавалерию и айда назад. Немцы взялись преследовать.

У Кузьмы Крючкова лошаденка была нестроевая, хуже всех, он и поотстал. Немцы догонят его, ткнут слегка кончиком пики, он от того укола гикнет, как сумасшедший, пришпорит лошаденку и оставит немцев на некоторое время позади...

Лошади-то у немцев заморенные были. Так вот немцы и гнали наш раз'езд верст пять. Кузьку все время ковыряли пиками в задницу, ну и наковыряли ему ран пятнадцать. А все из-за лошади. Будь у него хороший конь, он бы ни одной раны не получил, угнал бы вперед всех.

Через лошадь ему и счастье привалило, ходит теперь в крестах, как индюк, не здоровается с нашим братом.

— Ну, а как же писали, что он убил больше двадцати человек немцев.

Казак звонко хохочет. Дородное тело его раскачивается в маленьком желтом седле.

— Да кто их видел? Байки бабьи. Вранье! Все казаки об этом знают. И офицеры знают, да молчат. Свои соображения имеют. Тут политика хитрая. Всем выгода от этого.

*

Среди солдат заметно движение.

Солдат ежедневно спрашивает себя:

«Почему я голодаю? Отчего я сижу в окопах без сапог, без теплого белья? Долго ли еще так будет?»

Война дала великолепную встряску, она заставила многих ворочать мозгами в сотни раз интенсивнее, чем в мирное время.

Уже одно то, что человек побывал в десятках городов и губерний, повидал новых людей, поднимает его выше на целую голову. Толчок дан жизнью, войной, и он раскачивает народный массы.

*

Получил нелегально экземпляр размноженной на гектографе речи Максима Горького, произнесенной им на собрании представителей печати. Перечитываю ее от начала до конца, и сердце мое переполняется чувством благодарности к автору.

Это первые умные слова, сказанные за все время войны русским писателем. Эта речь должна войти в историю.

«Немец считался у нас на Руси образцом честности, аккуратности. «Честен, как немец», «аккуратен как немец». Это поговорки. Ныне, по какому-то щучьему велению, немец стал синонимом бесчестности, бесстыдства, варварства. И это говорится не об отдельных личностях, а о целой германской нации.

Мы все живем в атмосфере, насыщенной человеко-ненавистничеством, ядовитыми испарениями крови...

Эта война, кроме неисчислимого вреда, наносимого ею непосредственно, влечет за собою культурное одичание, взрыв зоологических эмоций, развитие ненависти, жадности и всяческой лжи, и всяческого лицемерия».

В армии и в тылу растет антисемитизм. Алексей Максимович сказал свое веское слово и по поводу этого явления.

«Готовясь после внешней войны к войне внутренней, предусмотрительные люди заранее принимают все меры для того, чтобы по возможности разбить, ослабить оппозицию.

Одною из этих мер, первой и важней по ее политическому и культурному значению, является острота и усердие, с которым предусмотрительные люди пропагандируют антисемитизм.

...Упорно внушают, что еврей — враг русского народа и предатель, а русский народ вследствие умственной лени своей очень доверчив и любит искать причины неудач своей жизни вне своей воли, своего разума...

...Еврейский вопрос в России ставится предусмотрительными людьми как обще-русский политический вопрос, он ставится столь нарочито остро для того, чтобы на нем русская оппозиция, и без того раздробленная

мелким партийным политиканством, раскололась еще раз и по новой линии...»

Не знаю, перед какими писателями говорил эту замечательную речь Горький. Если перед теми, которые пишут сегодня рассказы на ура-патриотические темы, то не стоило метать бисер перед свиньями.

*

Растет дезертирство.

Для ловли дезертиров на всех дорогах, на мостах и переправах выставлены сторожевые пикеты. Пикетчикам за каждого пойманного дезертира выдают четырнадцать копеек награды. Пикетчики стараются изо всех сил. Сторожевая служба в тылу спасает их от немецких пуль и взбавок она выгодна, как источник сдельного заработка. Но дезертиры уходят мимо застав и пикетов, текут без дорог по каким-то «козьим» тропам, просачиваются, как клопы, в щели.

Шпиономания растет параллельно с усталостью войск и командного состава. Она охватила в одинаковой мере как немцев, так и нас.

Все неудачи на фронте принято сваливать на шпионов. Противник изображается круглым дураком, не имеющим ни глаз, ни ушей. Если бы вот не шпионы, противника можно было бы забрать голыми руками.

В местечках, переходящих из рук в руки, часто одного и того же человека обвиняют в шпионаже обе армии: немецкая и наша.

Припелелась ветхая старушонка с просьбой написать в Красный Крест письмо о розыске пропавшего без вести сына.

— Где он у тебя пропал?

— В шпиены выбрали, кормилец, — невозмутимо шамкает бескровными губами старуха, как-будто речь идет о выборах в сотские или десятские.

— Как выбрали?

— Да так, вот и выбрали миром. Пришли в местечко немцы после отступления нашей армии. Главный немецкий генерал собрал всех жителей и говорит: «выдавайте шпиенов, не то все местечко сожгу и расстреляю десятого».

Наши старики плакали, плакали, умоляли, деньгами хотели откупиться — не могли собрать. Все богатей-то выехали отсюда, одна голытьба осталась. Вот и решились, значит, выбрать шпиена, как бы от общества. Мой Петро был кривой на один глаз, в армию его не приняли, он и сидел дома. Мир выбрал его в шпиены и сказал: «Ты, Петро, счастливый мужик, у тебя недостает одного глаза, твои товарищи страждут в окопах, а ты блаженствуешь дома, так иди-ка ты в шпиены, може, и с одним глазом не забракует».

Слушаю эту скорбную и кошмарную повесть старухи, и мне кажется, что или она сумасшедшая или я схожу с ума.

По сохшимся морщинистым щекам старухи катятся слезы.

Она утирает нос рукавом грязной рубахи. Скрипучий голос продолжает жужжать:

— Выбрали еще в помощь Петро хромого сапожника-Оську да безрукого жида-музыканта Янкеля.

Сына моего и Янкеля немцы увезли неизвестно куды. Оська хромой вернулся, а их не пустили.

Сделай милость, напиши в Красный Крест, спроси, когда отпустят Петро домой.

Пропиши: мать, мол, у него старуха, иссохла от тоски, умирать уж собралась, есть нечего, все солдаты разграбили, сожрали, поломали...

Знаю, что Красный Крест ничего не сможет ответить, но жаль разочаровывать старуху, не хочется усугублять и без того непосильное горе ее, и я пишу от ее имени запрос.

Старуха ставит в конце текста дрожащими от волнения руками крестик и, поблагодарив меня, уходит, жалкая и величественная в своем горе.

Часто офицеры арестовывают за шпионаж заведомо ни в чем неповинных мужиков, интеллигентов и даже помещиков, у которых есть хорошенькие жены или дочери.

Когда женщины приходят хлопотать за арестованного, им без всякого стеснения предлагается: «Плати своим телом, и муж—или отец—твой будет освобожден. Не согласна — расстреляем! Улики у нас есть».

Женщины жертвуют своим телом, подчиняются силе...

•

Сменились опять на отдых. Стоим в местечке за двадцать верст от передовой линии.

Нашу бригаду принимал новый генерал.

Был смотр обоих полков. Мы чистились, мылись целые сутки, чтобы «блеснуть».

Но увы! Лохмотья плохо поддаются чистке. Многие так обносились и опустились, что похожи на Робинзона Крузо, на Короля Лира, на кого угодно, но только не на гвардейских стрелков.

Всех, кто был в рваных сапогах или совсем без сапог, ротные командиры поставили в заднюю шеренгу.

Хотели обмануть бригадного.

Бригадный, высокий, с типичной солдатской выправкой генерал-лейтенант медленно идет вдоль развернутого фронта. Изредка спрашивает, наклоняясь к самому лицу солдат.

— Жалобы есть?

Содаты молчат, выпячивая на начальство богатырские груди и «поедая» его глазами, как полагается по неписанному уставу.

Вдруг в последних рядах прорвало:

— Почему хлеба мало дают?

Выкрик робкий, просительный. И сразу же посыпалась дружная дробь голосов смелых и отчаянных:

— Почему сахар урезали?

— Почему каптеры торгуют продуктами и обмундированием? Где берут?

— Почему контролю нет?

— Сапоги давай!

Из задней шеренги угрожающе тянутся вперед спря-
танные от генеральских глаз сотни ног в уродливых ры-
жих сапогах с подвязанными проволокой и шпатами
подметками, с прожженными на кострах голенищами,
с раз'ехавшимися задниками.

Лица солдат потны, красны и злы.

Офицеры стынут неподвижно на своих местах.

Бригадный на-ходу говорит что-то негромко коман-
диру полка.

Тот, прикладывая ладонь к козырьку, однозвучно
отвечает:

— Слушаюсь, ваше превосходительство! Слушаюсь!
У командира полка нижняя губа прыгает, точно в лихорадке...

Стрельбы нет. Над окопами морозная тишина.
Гурий Феоктистов, долговязый малый, лет тридцати, по профессии истребитель крыс и мышей, а теперь стрелок первого взвода, стоит рядом со мной в бойнице на часах.

Опираясь на винтовку и раскачивая из стороны в сторону свое длинное тело, он, точно глухарь на току, целый час напевает похабную песенку:

Ти-та, ти-та, ти-та, ти-та,
Поп любил архимандрита,
А дьячок пономаря,
Ничего не говоря...

Это раздражает меня, и я мягко прошу:

— Перестаньте, Феоктистов.

Титающий теноришко обрывается на полуслове.

Феоктистов несколько минут сосредоточенно пыхтит и возится с подсумком, который сполз на живот.

— Что, не нравится тебе моя песня?

— Нет, Гурий.

— Гм... А мне, может, вот в окопе стоять не нравится, надоело, тогда как?

— Ну и не стойте...

— Да куда же денешься? Везде найдут, приструнят, мать иху...

Несколько минут мы оба молчим.

Феокистов спрашивает:

— Скажите вы мне, пожалуйста, почему в газетах фронт называется театром военных действий? Читаю ежедневно и удивляюсь, никак докопаться истины не могу. Давно собирался спросить сведущего человека. Я сам-то москвич. В Москве есть Большой театр, Малый, Художественный и другие. Это понятно. А какой, к примеру, театр наши окопы? Что это, для смеху пишут...

— Не знаю, Гурий, не знаю.

— Чудно! Неужто и вы не знаете?

— Нет.

— У кого бы это спросить?

— Не знаю. Может быть, батальонный скажет...

— Да ведь как к нему подступиться с таким вопросом? Он те так шутнет, что не знаешь, в какой конец бежать.

Опять длительная пауза.

— А еще я хотел вас спросить насчет перехода в иностранную веру. Можно это теперь или нет?

— В какую веру, Гурий? В католичество? В магометанство? В иудейство?

Он смеется и, размахивая перед моим носом широкими рукавами шинели, говорит:

— Я не про то. Ну их всех богов ентих! Все хороши. Я насчет паспорта. Нельзя ли сделать так: живу я в России, хотя бы в Москве, а паспорт у меня аглицкий или немецкий и чтобы меня ни на войну, никуда взять не могли.

Я начинаю понимать его.

— Иностранное подданство принять хотите? Так, что ли?

— Вот, вот! Про это самое!

— Не знаю, Гурий, теперь как, а до войны, кажется, можно было. Нужно было заплатить сколько-то или жениться на иностранке.

— Даже жениться? Ах, чтоб те лопнуть на этом месте! Ничего не выйдет. Я восьмой год в законном браке состою, наследников уж троих имею. А я думал, это просто. Подал заявление, и готово.

Помолчав немного, он философски, не торопясь, рассуждает:

— Да и то сказать, нельзя иначе-то. Ежели разрешить нашему брату беспрепятственно переходить в иностранное подданство, все перейдут. Русские в английское, а французы — в русское. Чехарда получится. Тогда ни в одном государстве и армии не соберешь.

И, закручивая из газетной бумаги сигарку, итрово заканчивает свою мысль:

— А курьезно будет, в сам деле, Андреич. У государства вся земля заселена народом. Населения кишмя-кишит, а подданных нету. Все как есть иностранцы.

Мне эта перспектива тоже кажется забавной. Я шутя говорю Феоктистову:

— Ну, что ж, попробуем после войны, коли живы останемся, жениться на иностранках и перейти в «иностранную веру».

Он тяжело вздыхает:

— Где уж мне? Нос у меня конопатый. Какая иностранка за такого пойдет. Да, может быть, до другой войны я и не доживу, а в мирное время и под своим царем с грехом пополам жить можно. Дотяну уж как-нибудь.

По мерзлой земле хода сообщения гулко громыхают тяжелые шаги.

Тихие переклики людей тревожат синеватую мглу окопных тушиков и закоулков.

Феоктистов снимает с винтовки штык, одевает его острием вниз и, покашливая, говорит мне:

— Смена идет. Пойдемте-ка в землянку. Ноги застыли. Эх, горяченького бы теперь поесть чего-нибудь.

— Не худо бы, — соглашаюсь я. — Но оба мы отлично знаем, что это химера. Горяченького ничего нет.

*

Только-что получили статью Горького: «Письма к читателю».

Есть замечательные строки против войны, против военного угара, против патриотического хвастовства нынешних Маниловых.

«С того дня, как нас лишили водки, мы начали опьяняться словами. Любовь к слову, громкому, красному; всегда свойственна россиянам, но никогда еще словоблудие не разливалось по Руси столь широким потоком, как разливалось оно в начале войны. Хвастовство русской мощью, «бескорыстием» русской души и прочими качествами, присущими исключительно нам, хвастовство в стихах и прозе оглушало, словно московский медный звон...

И, как всегда, в моменты катастрофы громче всех кричали жулики»...

Это не в бровь, а прямо в оба глаза.

Горького не купишь ни за чечевичную похлебку, ни за миллионы. Он всегда останется Буревестником. Цар-